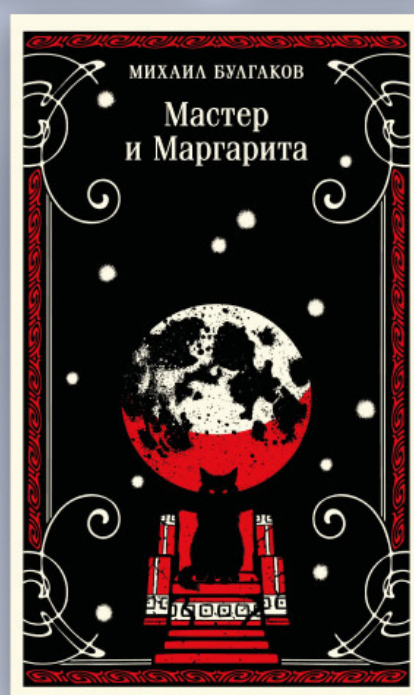


# ДИАЛОГИ С ТЬМОЙ: от Люцифера до Воланда



— КОМПЛЕКТ ИЗ 5 КНИГ —

Магистраль. Главный тренд

АНТОН ЧЕХОВ

**Диалоги с тьмой: от Люцифера  
до Воланда. Комплект из 5 книг**

«ЭКСМО»

## **Чехов А. П.**

Диалоги с тьмой: от Люцифера до Воланда. Комплект из 5 книг / А. П. Чехов — «Эксмо», — (Магистраль. Главный тренд)

ISBN 978-5-04-249472-7

Комплект из 5 книг – платите меньше, читайте больше! В состав входят: Мастер и Маргарита, Скорбь Сатаны, Эликсиры дьявола, Бал Сатаны. Русская мистика, Люцифер. Часть 1. Комплектом выгоднее, чем покупать книги по отдельности Мастер и Маргарита Каждую весну в полнолуние что-то приводит поэта Бездомного к скамейке на Патриарших, где всё начиналось. А другого героя – прокуратора Понтия Пилата – что-то заставляет уже две тысячи лет видеть лунную дорогу и своего подследственного... И это «что-то» – нечто большее, чем воспоминания. Что-то, что они обрели внутри романа как участники его событий. И читатель тоже становится таким участником, переживая, может быть, самый необыкновенный опыт. Поэтому «Мастер и Маргарита» остается больше, чем просто в памяти. Книга содержит вступительную статью Марии Котовой, кандидата филологических наук, главного научного сотрудника научно-просветительского отдела государственного музея М.А. Булгакова, и иллюстрации Алексея Дурасова. Скорбь Сатаны Действие романа происходит в Лондоне в 1895 году. Сатана ходит среди людей в поисках очередной игрушки, с которой сможет позабавиться, чтобы показать Богу, что может развратить кого угодно. Он хочет найти кого-то достойного, кто сможет сопротивляться искушениям, но вокруг царит безверие, коррупция, продажность. Джеффри Темпест, молодой обедневший писатель, едва сводит концы с концами, безуспешно пытается продать свой роман. В очередной раз, когда он размышляет о своем отчаянном положении, он замечает на столе три письма. Первое – от друга из Австралии, который разбогател на золотодобыче, он сообщает, что посылает к Джеффри друга, который поможет ему выбраться из бедности. Второе – записка от поверенного, в которой подробно описывается, что он унаследовал состояние от умершего родственника. Третье – рекомендательное письмо от Князя Лучо Риманеза, «избавителя от бедности», про которого

писал друг из Австралии. Сможет ли Джеффри сделать правильный выбор, сохранить талант и душу?.. Эликсиры дьявола В данном издании представлен роман «Эликсиры дьявола», посвященный любимой для Гофмана теме разрушительного действия темной половины человеческой личности. Причем вторжение зла в душу человека обуславливается как наследственными причинами, так и действием внешних, демонических сверхъестественных сил. Главное действующее лицо монах Медардус, случайно отведав таинственной жидкости из хрустального флакона, становится невольным носителем зла. Повествование, ведущееся от его лица, позволяет последовать по монастырским переходам и кельям, а затем по пестрому миру, и испытать все, что перенес монах в жизни страшного, наводящего ужас, безумного и смехотворного... Адресована всем, кого притягивает мир таинственного и необычного. Издание дополнено комментариями переводчика Владимира Микушевича. Бал Сатаны Русские писатели XIX века часто вплетали в сюжеты старинные «страшилки», открывая завесу в мир тайны и мистики, где инфернальное маскируется под человеческое. Ведьминский шабаш на окраине Киева. Разговор покойников на кладбище. Ночное путешествие с призраком. Сознание человека с психическим расстройством. Это и многое другое ждет вас в сборнике «Бал Сатаны». В книгу вошли произведения А. Бестужева-Марлинского, Н. Гоголя, О. Сомова, М. Загоскина, И. Тургенева, Ф. Достоевского, А. Чехова и А. Куприна. Люцифер (часть 1) Первая часть трилогии трагедий голландского драматурга Йоста ван ден Вондела, написанная в XVII веке. Пьеса исследует темы падения и борьбы между добром и злом через образ Люцифера, падшего ангела, который восстает против Бога. Вондел создает глубокий психологический портрет персонажей, исследуя природу зла и стремления к свободе, а также последствия бунта против божественного порядка. Сложные диалоги и поэтический язык делают «Люцифера» не только важным произведением для изучения голландской литературы, но и универсальным исследованием человеческой природы.

\* Цена комплекта рассчитана исходя из базовых цен. Во время акционных предложений цена отдельных книг может меняться

## Содержание

Михаил Афанасьевич Булгаков	6
«Мастер и Маргарита»	7
Часть I	10
Глава 1	10
Глава 2	18
Конец ознакомительного фрагмента.	27

**Антон Чехов, Николай Гоголь, Федор  
Достоевский, Михаил Булгаков,  
Эрнст Теодор Амадей Гофман и др.  
Диалоги с тьмой: от Люцифера  
до Воланда. Комплект из 5 книг**

**Михаил Афанасьевич Булгаков  
Мастер и Маргарита**

© Булгаков М.А., наследники, 2020

© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2020

\* \* \*

## «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова

*...а буду ли я знать суд читателей, никому не известно.  
(из письма М.А. Булгакова к Е.С. Булгаковой)*

Михаил Булгаков работал над романом, получившим название «Мастер и Маргарита», более десяти лет. Самый первый вариант романа о приключениях дьявола в Москве был создан в конце 1920-х годов – первую тетрадь романа Булгаков датировал 1928 годом. Писатель читал роман близким друзьям, планировал публикацию и в 1929 году на пробу отнес отрывок в редакцию издательства «Недра». Издательство, как и сам Булгаков, переживало трудные дни, и глава из романа так и не появилась в печати.

Общий ход повествования, герои и содержание глав сожженного романа были реконструированы Мариэттой Омаровной Чудаковой по сохранившимся фрагментам рукописи. В первой редакции гротескного романа о приключениях дьявола в Москве события начинались на Патриарших прудах (как и во всех последующих вариантах начала романа), там же была сцена в Грибоедове (в ранних редакциях он назывался «Шалаш Грибоедова»), вечер в Варьете, Воланд, и уже в этих первых черновиках московские главы чередовались с ершалаимскими. В одиннадцатой главе ранней редакции появляется герой, которому Мариэтта Омаровна Чудакова уделила особое внимание. Героя зовут Феся, он получил хорошее образование, учился на историко-филологическом факультете Московского университета, стал профессором, в сферу интересов которого входит средневековая демонология. После революции Феся преподавал – читал в Художественных мастерских курс «Гуманистический критицизм как таковой», а в Академии изящных искусств вел курс «Секуляризация этики как науки». Глава обрывается на том, как Феся в 1927 году читает о себе гневную заметку в газете. Мариэтта Омаровна пришла к выводу, что в последующих редакциях романа в том самом месте, где когда-то был Феся, появляется Мастер (в первых редакциях Булгаков называет его Поэтом). В первой редакции романа с Фесей не было не только Мастера, но и Маргариты, а сам роман был написан в русле гротескно-фантастических московских повестей Михаила Булгакова «Дьяволиада», «Роковые яйца» и «Собачье сердце». В 1929 году все меняется.

В феврале 1929 года в гостях у знакомых Булгаков познакомился с Еленой Сергеевной Шиловской, женой московского военачальника Евгения Шиловского. Уже в 1960-е годы она вспоминала, что виделись они с Булгаковым той зимой едва ли не каждый день, а однажды он позвонил ей ночью домой (муж был в командировке) и вызвал на Патриаршие (Елена Сергеевна жила через дорогу на Большой Садовой). Ей запомнилась морозная луна, тишина и таинственный шепот Булгакова, указывающего на скамейку: «Здесь они увидели его в первый раз». Тогда Елена Сергеевна еще не знала, что Булгаков говорит о встрече Воланда с Берлиозом и Иванушкой.

Осенью того же года Булгаков написал в подарок возлюбленной повесть «Тайному другу», в которой 1929 год назвал годом катастрофы. Это было время тотального запрещения писателя – из репертуара театров изымали спектакли по пьесам «Дни Турбиных», «Багровый остров» и «Зойкина квартира», запретили «Бег», отклонили все прошения о разрешении на выезд за границу. Загнанный, лишенный голоса и средств к существованию, писатель решился на отчаянный шаг и в марте 1930 года написал «Письмо Правительству СССР». Мариэтта Омаровна Чудакова приводит свой разговор с Еленой Сергеевной, перепечатававшей вместе с Булгаковым письмо на машинке для отправки правительственным чиновникам. По словам Елены Сергеевны, как только она дошла до слов «И лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе...», Булгаков сказал: «Ну, раз это уже написано – это должно быть

и сделано. Но если я сожгу все, мне никто не поверит, что роман был». Поэтому писатель начал отрывать половину от каждого листа и бросать в печку, растопленную тут же, в кабинете. По сохранившимся у корешка каждой тетради обрывкам страниц Мариэтты Омаровны позднее смогла реконструировать сожженный текст романа.

В 1931 году Елена Сергеевна по настоянию мужа прекратила встречи с Булгаковым, и вновь они увиделись только в сентябре 1932 года, а 4 октября зарегистрировали свой брак. В 1931 году в набросках к роману впервые упоминается новая героиня по имени Маргарита: «Маргарита заговорила страстно», а в 1933 году она уже становится полноправной героиней романа, к которому неожиданно для самого себя вернулся Михаил Булгаков. В письме Викентию Вересаеву 2 августа 1933 года он писал: «В меня же вселился бес. Уже в Ленинграде и теперь здесь, задыхаясь в моих комнатенках, я стал марать страницу за страницей наново тот свой уничтоженный три года назад роман. Зачем? Не знаю. Я тешу себя сам!» Незадолго до этого, 21 мая 1933 года он подарил Елене Сергеевне сборник «Дьяволиада» с символической дарственной надписью: «Тайному другу, ставшему явным. Жене моей Лене. Ты совершишь со мной мой последний полет».

С этого момента Булгаков начинает планомерную работу над романом, и чем безнадежнее становятся его перспективы в официальном театрально-литературном мире, тем больше он погружается в текст, который будет переписывать и править до самой смерти в марте 1940 года. За годы работы над романом Булгаков перебрал множество названий – «Консультант с копытом», «Великий канцлер», «Копыто инженера», «Князь тьмы» и другие, – пока в 1938 году окончательно не остановился на теперь уже всемирно известном названии «Мастер и Маргарита»: «У М. А. установилось название для романа – „Мастер и Маргарита“. Надежды на напечатание его – нет. И все же М. А. правит его, гонит вперед, в марте хочет кончить. Работает по ночам». (Запись в дневнике Елены Сергеевны Булгаковой от 1 марта 1938 года.) В том же году ее сестра Ольга Бокшанская, профессиональная машинистка, перепечатала роман, и Булгаков начал кропотливую работу над правками.

Елена Сергеевна не скрывала, что она была прототипом Маргариты в романе, а в образе Мастера воплотились некоторые автобиографические черты Булгакова, хотя его и нельзя назвать абсолютным прототипом героя. В романе Мастер и Маргарита знакомятся на углу Тверской и Большого Гнездииковского возле дома, в котором состоялось знакомство Михаила Булгакова и Елены Сергеевны, Маргарита замужем за могущественным человеком, как и ее прототип (позднее Булгаков затушевывает явные автобиографические переключки в романе), Мастер, как и Булгаков, писатель (повествование о Ершалаиме теперь звучит не из уст Воланда, как в ранних черновиках, а становится романом, который пишет Мастер), Воланда и его свиту в романе Булгаков селит в квартире, где он сам жил в 1921–1924 годах, а любимые писателем Патриаршие пруды становятся отправной точкой романа.

Гораздо больше споров и дискуссий ведется вокруг прототипа фигуры Воланда. В отличие от Мастера и Маргариты Воланд был в романе с самого начала и воплощал, по определению Мариэтты Омаровны, «предельное всемогущество, потребное автору для выражения победительного (органичного для Булгакова) взгляда на враждебную ему современность». Именно таким в целом предстает Воланд в романе, но в некоторых деталях его образ на протяжении более чем десяти лет работы над романом меняется. Сам Булгаков в разговоре с Сергеем Ермолинским говорил: «... У Воланда никаких прототипов нет. Очень прошу тебя, имей это в виду». Но такая просьба только подогрела интерес исследователей и любителей романа.

Первый и самый очевидный прообраз или прототип Воланда, который подчеркивается самим Булгаковым, – это Мефистофель из «Фауста» (к слову, любимой оперы писателя, которую он слушал более сорока раз). Еще один возможный претендент – американский посол в СССР Уильям Буллит, с которым Михаил Булгаков был хорошо знаком. Огромный прием, устроенный Уильямом Буллитом в американском посольстве 23 апреля 1935 года и пора-

живший Булгакова своим размахом, послужил прообразом бала сатаны в романе. В фигуре Воланда отразились, по-видимому, и размышления Булгакова о Сталине и природе практически абсолютной власти. Особенно часто Булгаков возвращался к этой теме после отправки «Письма Правительству СССР» и последовавшего за этим его короткого телефонного разговора со Сталиным. Много занимавшаяся этой темой Мариэтта Омаровна пришла к выводу, что связь Сталина с Воландом (и Пилатом) сложнее, чем прямолинейная связь прототипа с персонажем. По версии Мариэтты Омаровны, после оставшихся без ответа писем Булгакова к Сталину, написанных после «Письма Правительству СССР», он стал искать другие способы контакта с вождем, среди которых было и представление ему романа о дьяволе. Елена Сергеевна записала в дневнике 23 сентября 1937 года: «Мучительные поиски выхода: письмо ли наверх? Бросить ли театр? Откорректировать роман и представить? Ничего нельзя сделать. Безвыходное положение». И еще через месяц: «У М.А. из-за всех этих дел по чужим и своим либретто начинает зреть мысль – уйти из Большого театра, выправить роман („Мастер и Маргарита“), представить его наверх». Анализируя роман, Мариэтта Омаровна пришла к выводу, что в какой-то своей плоскости, видимой лишь адресату, этот роман был своеобразным письмом и Воланд несомненно носит на себе отпечаток размышлений Михаила Булгакова о Сталине.

Эволюция образа Воланда ясно прослеживается в черновиках романа – в первых редакциях романа больше подчеркнута несерьезность, гаерство нечистой силы и самого Воланда. Например, в ранней версии романа разговор Воланда с буфетчиком Варьете выглядит так: «Не погубите сироту, – сказал плаксиво Воланд и вдруг стал на колени. „Полоумный или издевается“, – подумал буфетчик». Позднее линия шутовства нечистой силы почти полностью перейдет к Бегемоту и Коровьеву. В более поздних редакциях Воланд полон мрачной силы и могущества, он изрекает лаконичные афоризмы, неспешен и задумчив.

История сложилась так, что Булгаков не подал роман наверх и не успел его завершить. Елена Сергеевна вспоминала, как уже умирающий писатель прошептал ей: «Чтобы знали... Чтобы знали», и тогда она пообещала мужу, что добьется публикации романа. Это произошло четверть века спустя. Благодаря усилиям Елены Сергеевны и председателя комиссии по литературному наследию Булгакова Константина Симонова в одиннадцатом номере журнала «Москва» за 1966 год и номере первом за 1967-й был напечатан с цензурными изъятиями и сокращениями роман «Мастер и Маргарита».

Мариэтта Омаровна Чудакова, описывая историю публикации романа, процитировала фразу главного редактора журнала «Москва» Евгения Поповкина: «Мне очень страшно это печатать, но я понимаю, что напечатать роман для меня – единственный способ остаться в истории литературы». Публикация вызвала небывалый ажиотаж, один из читателей романа свидетельствовал, что свежий номер «Москвы» с окончанием «Мастера и Маргариты» был раскуплен в течение пятнадцати минут. Роман брали на ночь почитать, переписывали от руки и перепечатывали на машинке – он широко расходился в самиздате. Елена Сергеевна собственноручно перепечатала на машинке все изъятые из романа фрагменты и раздавала их с пометками для вклеивания в журнальную публикацию. Один такой экземпляр романа с вклеенными купюрами она подарила своей подруге Владимире Уборевич.

Первое полное отдельное издание романа в СССР появилось только в 1973 году, уже после смерти Елены Сергеевны Булгаковой. С тех пор роман «Мастер и Маргарита» стал классикой, был многократно переиздан и переведен на десятки языков.

*Мария Котова*

*«...Так кто ж ты, наконец? —*

*Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.»*

**Гёте И. «Фауст»**

## Часть I

### Глава 1

#### Никогда не разговаривайте с неизвестными

В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось двое граждан. Первый из них – приблизительно сорокалетний, одетый в серенькую летнюю пару, – был маленького роста, темноволос, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а аккуратно выбритое лицо его украшали сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй – плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке – был в ковбойке, жеваных белых брюках и черных тапочках.

Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, редактор толстого художественного журнала и председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемой Массолит, а молодой спутник его – поэт Иван Николаевич Поньрев, пишущий под псевдонимом Бездомный.

Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым делом бросились к пестро раскрашенной будочке с надписью «Пиво и воды».

Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой Бронной улице, не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, – никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея.

- Дайте нарзану, – попросил Берлиоз.
- Нарзану нету, – ответила женщина в будочке и почему-то обиделась.
- Пиво есть? – сиплым голосом осведомился Бездомный.
- Пиво привезут к вечеру, – ответила женщина.
- А что есть? – спросил Берлиоз.
- Абрикосовая, только теплая, – сказала женщина.
- Ну, давайте, давайте, давайте!..

Абрикосовая дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной.

Тут приключилась вторая странность, касающаяся одного Берлиоза. Он внезапно перестал икать, сердце его стукнуло и на мгновение куда-то провалилось, потом вернулось, но с тупой иглой, засевшей в нем. Кроме того, Берлиоза охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки.

Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, что его напугало. Он побледнел, вытер лоб платком, подумал: «Что это со мной? Этого никогда не было... сердце шалит... я переутомился... Пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск...»

И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок... Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая.

Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. Еще более побледнев, он вытаращил глаза и в смятении подумал: «Этого не может быть!..»

Но это, увы, было, и длинный, сквозь которого видно, гражданин, не касаясь земли, качался перед ним и влево и вправо.

Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза. А когда он их открыл, увидел, что все кончилось, марево растворилось, клетчатый исчез, а заодно и тупая игла выскочила из сердца.

– Фу ты черт! – воскликнул редактор. – Ты знаешь, Иван, у меня сейчас едва удар от жары не сделался! Даже что-то вроде галлюцинации было... – Он попытался усмехнуться, но в глазах его еще прыгала тревога, и руки дрожали. Однако постепенно он успокоился, обмахнулся платком и, произнеся довольно бодро: «Ну-с, итак...» – повел речь, прерванную питьем абрикосовой.

Речь эта, как впоследствии узнали, шла об Иисусе Христе. Дело в том, что редактор заказал поэту для очередной книжки журнала большую антирелигиозную поэму. Эту поэму Иван Николаевич сочинил, и в очень короткий срок, но, к сожалению, ею редактора несколько не удовлетворил. Очертил Бездомный главное действующее лицо своей поэмы, то есть Иисуса, очень черными красками, и тем не менее всю поэму приходилось, по мнению редактора, писать заново. И вот теперь редактор читал поэту нечто вроде лекции об Иисусе, с тем чтобы подчеркнуть основную ошибку поэта.

Трудно сказать, что именно подвело Ивана Николаевича – изобразительная ли сила его таланта или полное незнакомство с вопросом, по которому он писал, – но Иисус у него получился, ну, совершенно живой, некогда существовавший Иисус, только, правда, снабженный всеми отрицательными чертами Иисус.

Берлиоз же хотел доказать поэту, что главное не в том, каков был Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, что Иисуса-то этого, как личности, вовсе не существовало на свете и что все рассказы о нем – простые выдумки, самый обыкновенный миф.

Надо заметить, что редактор был человеком начитанным и очень умело указывал в своей речи на древних историков, например, на знаменитого Филона Александрийского, на блестяще образованного Иосифа Флавия, никогда ни словом не упоминавших о существовании Иисуса. Обнаруживая солидную эрудицию, Михаил Александрович сообщил поэту, между прочим, и о том, что то место в пятнадцатой книге, в главе 44-й знаменитых Тацитовых «Анналов», где говорится о казни Иисуса, – есть не что иное, как позднейшая поддельная вставка.

Поэт, для которого все, сообщаемое редактором, являлось новостью, внимательно слушал Михаила Александровича, уставив на него свои бойкие зеленые глаза, и лишь изредка икал, шепотом ругая абрикосовую воду.

– Нет ни одной восточной религии, – говорил Берлиоз, – в которой, как правило, непорочная дева не произвела бы на свет бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых. Вот на это-то и нужно сделать главный упор...

Высокий тенор Берлиоза разносился в пустынной аллее, и по мере того, как Михаил Александрович забирался в дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек, – поэт узнавал все больше и больше интересного и полезного и про египетского Озириса, благостного бога и сына Неба и Земли, и про финикийского бога Фаммуза, и про Мардука, и даже про менее известного грозного бога Вицлипуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике.

И вот как раз в то время, когда Михаил Александрович рассказывал поэту о том, как ацтеки лепили из теста фигурку Вицлипуцли, в аллее показался первый человек.

Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже поздно, разные учреждения представили свои сводки с описанием этого человека. Сличение их не может не вызвать изумления. Так, в первой из них сказано, что человек этот был маленького роста, зубы имел золотые и хромал на правую ногу. Во второй – что человек был росту громадного, коронки имел платиновые, хромал на левую ногу. Третья лаконически сообщает, что особых примет у человека не было.

Приходится признать, что ни одна из этих сводок никуда не годится.

Раньше всего: ни на какую ногу описываемый не хромал, и росту был не маленького и не громадного, а просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у него были платиновые коронки, а с правой – золотые. Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. По виду – лет сорока с лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый – почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом – иностранец.

Пройдя мимо скамьи, на которой помещались редактор и поэт, иностранец покосился на них, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке, в двух шагах от приятелей.

«Немец...» – подумал Берлиоз.

«Англичанин... – подумал Бездомный. – Ишь, и не жарко ему в перчатках».

А иностранец окинул взглядом высокие дома, квадратом окаймлявшие пруд, причем заметно стало, что видит это место он впервые и что оно его заинтересовало.

Он остановил взор на верхних этажах, ослепительно отражающих в стеклах изломанное и навсегда уходящее от Михаила Александровича солнце, затем перевел его вниз, где стекла начали предвечерне темнеть, чему-то снисходительно усмехнулся, прищурился, руки положил на набалдашник, а подбородок на руки.

– Ты, Иван, – говорил Берлиоз, – очень хорошо и сатирически изобразил, например, рождение Иисуса, сына Божия, но соль-то в том, что еще до Иисуса родился целый ряд сынов Божиих, как, скажем, финикийский Адонис, фригийский Атгис, персидский Митра. Коротко же говоря, ни один из них не рождался и никого не было, в том числе и Иисуса, и необходимо, чтобы ты, вместо рождения или, предположим, прихода волхвов, изобразил бы нелепые слухи об этом приходе. А то выходит по твоему рассказу, что он действительно родился!..

Тут Бездомный сделал попытку прекратить замучившую его икоту, задержав дыхание, отчего икнул мучительнее и громче, и в этот же момент Берлиоз прервал свою речь, потому что иностранец вдруг поднялся и направился к писателям.

Те поглядели на него удивленно.



– Извините меня, пожалуйста, – заговорил подошедший с иностранным акцентом, но не коверкая слов, – что я, не будучи знаком, позволяю себе... но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что...

Тут он вежливо снял берет, и друзьям ничего не оставалось, как приподняться и раскланяться.

«Нет, скорее француз...» – подумал Берлиоз.

«Поляк?...» – подумал Бездомный.

Необходимо добавить, что на поэта иностранец с первых же слов произвел отвратительное впечатление, а Берлиозу скорее понравился, то есть не то чтобы понравился, а... как бы выразиться... заинтересовал, что ли.

– Разрешите мне присесть? – вежливо попросил иностранец, и приятели как-то невольно раздвинулись; иностранец ловко уселся между ними и тотчас вступил в разговор.

– Если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете? – спросил иностранец, обращая к Берлиозу свой левый зеленый глаз.

– Нет, вы не ослышались, – учтиво ответил Берлиоз, – именно это я и говорил.

– Ах, как интересно! – воскликнул иностранец.

«А какого черта ему надо?» – подумал Бездомный и нахмурился.

– А вы соглашались с вашим собеседником? – осведомился неизвестный, повернувшись вправо к Бездомному.

– На все сто! – подтвердил тот, любя выразиться вычурно и фигурально.

– Изумительно! – воскликнул непрощенный собеседник и, почему-то воровски оглянувшись и приглушив свой низкий голос, сказал: – Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще и не верите в Бога? – Он сделал испуганные глаза и прибавил: – Клянусь, я никому не скажу.

– Да, мы не верим в Бога, – чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз, – но об этом можно говорить совершенно свободно.

Иностранец откинулся на спинку скамейки и спросил, даже привизгнув от любопытства:

– Вы – атеисты?!

– Да, мы – атеисты, – улыбаясь, ответил Берлиоз, а Бездомный подумал, рассердившись: «Вот прицепился, заграничный гусь!»

– Ох, какая прелесть! – вскричал удивительный иностранец и завертел головой, глядя то на одного, то на другого литератора.

– В нашей стране атеизм никого не удивляет, – дипломатически вежливо сказал Берлиоз, – большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге.

Тут иностранец отколол такую штуку: встал и пожал изумленному редактору руку, произнеся при этом такие слова:

– Позвольте вас поблагодарить от всей души!

– За что это вы его благодарите? – заморгав, осведомился Бездомный.

– За очень важное сведение, которое мне, как путешественнику, чрезвычайно интересно, – многозначительно подняв палец, пояснил заграничный чужак.

Важное сведение, по-видимому, действительно произвело на путешественника сильное впечатление, потому что он испуганно обвел глазами дома, как бы опасаясь в каждом окне увидеть по атеисту.

«Нет, он не англичанин...» – подумал Берлиоз, а Бездомный подумал: «Где это он так наловчился говорить по-русски, вот что интересно!» – и опять нахмурился.

– Но позвольте вас спросить, – после тревожного раздумья заговорил заграничный гость, – как же быть с доказательствами бытия Божия, коих, как известно, существует ровно пять?

– Увы! – с сожалением ответил Берлиоз. – Ни одно из этих доказательств ничего не стоит, и человечество давно сдало их в архив. Ведь согласитесь, что в области разума никакого доказательства существования Бога быть не может.

– Bravo! – вскричал иностранец. – Bravo! Вы полностью повторили мысль беспокойного старика Иммануила по этому поводу. Но вот курьез: он начисто разрушил все пять доказа-

тельство, а затем, как бы в насмешку над самим собою, соорудил собственное, шестое доказательство!

– Доказательство Канта, – тонко улыбнувшись, возразил образованный редактор, – также неубедительно. И недаром Шиллер говорил, что кантовские рассуждения по этому вопросу могут удовлетворить только рабов, а Штраус просто смеялся над этим доказательством.

Берлиоз говорил, а сам в это время думал: «Но все-таки, кто же он такой? И почему он так хорошо говорит по-русски?»

– Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на три в Соловки! – совершенно неожиданно бухнул Иван Николаевич.

– Иван! – сконфузившись, шепнул Берлиоз.

Но предложение отправить Канта в Соловки не только не поразило иностранца, но даже привело в восторг.

– Именно, именно, – закричал он, и левый зеленый глаз его, обращенный к Берлиозу, засверкал, – ему там самое место! Ведь говорил я ему тогда за завтраком: «Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут».

Берлиоз выпучил глаза. «За завтраком... Канту?.. Что это он плетет?» – подумал он.

– Но, – продолжал иноземец, не смущаясь изумлением Берлиоза и обращаясь к поэту, – отправить его в Соловки невозможно по той причине, что он уже с лишком сто лет пребывает в местах значительно более отдаленных, чем Соловки, и извлечь его оттуда никоим образом нельзя, уверяю вас!

– А жаль! – отозвался задира-поэт.

– И мне жаль, – подтвердил неизвестный, сверкая глазом, и продолжал: – Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели Бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?

– Сам человек и управляет, – поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.

– Виноват, – мягко отозвался неизвестный, – для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И в самом деле, – тут неизвестный повернулся к Берлиозу, – вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого... – тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, – да, саркома, – жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, – и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует.

Родные вам начинают лгать. Вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье – совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, – тут иностранец прищурился на Берлиоза, – пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, так как неизвестно почему вдруг возьмет поскользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? – и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком.

Берлиоз с великим вниманием слушал неприятный рассказ про саркому и трамвай, и какие-то тревожные мысли начали мучить его. «Он не иностранец... он не иностранец... – думал он, – он престранный субъект... но позвольте, кто же он такой?..»

– Вы хотите курить, как я вижу? – неожиданно обратился к Бездомному неизвестный. – Вы какие предпочитаете?

– А у вас разные, что ли, есть? – мрачно спросил поэт, у которого папиросы кончились.

– Какие предпочитаете? – повторил неизвестный.

– Ну, «Нашу марку», – злобно ответил Бездомный.

Незнакомец немедленно вытащил из кармана портсигар и предложил его Бездомному:

– «Наша марка».

И редактора и поэта не столько поразило то, что нашлась в портсигаре именно «Наша марка», сколько сам портсигар. Он был громадных размеров, червонного золота, и на крышке его при открывании сверкнул синим и белым огнем бриллиантовый треугольник.

Тут литераторы подумали разное. Берлиоз: «Нет, иностранец!», а Бездомный: «Вот черт его возьми, а!..»

Поэт и владелец портсигара закурили, а некурящий Берлиоз отказался.

«Надо будет ему возразить так, – решил Берлиоз, – да, человек смертен, никто против этого и не спорит. Но дело в том, что...»

Однако он не успел выговорить этих слов, как заговорил иностранец:

– Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер.

«Какая-то нелепая постановка вопроса...» – помыслил Берлиоз и возразил:

– Ну, здесь уж есть преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен более или менее точно. Само собою разумеется, что, если на Бронной мне свалится на голову кирпич...

– Кирпич ни с того ни с сего, – внушительно перебил неизвестный, – никому и никогда на голову не свалится. В частности же, уверяю вас, вам он ни в каком случае не угрожает. Вы умрете другою смертью.

– Может быть, вы знаете, какой именно? – с совершенно естественной иронией осведомился Берлиоз, вовлекаясь в какой-то действительно нелепый разговор. – И скажете мне?

– Охотно, – отозвался незнакомец. Он смерил Берлиоза взглядом, как будто собирался сшить ему костюм, сквозь зубы пробормотал что-то вроде: «Раз, два... Меркурий во втором доме... луна ушла... шесть – несчастье... вечер – семь...» – и громко и радостно объявил: – Вам отрежут голову!

Бездомный дико и злобно вытаращил глаза на развязного неизвестного, а Берлиоз спросил, криво усмехнувшись:

– А кто именно? Враги? Интервенты?

– Нет, – ответил собеседник, – русская женщина, комсомолка.

– Гм... – промычал раздраженный шуточкой неизвестного Берлиоз, – ну, это, извините, маловероятно.

– Прошу и меня извинить, – ответил иностранец, – но это так. Да, мне хотелось бы спросить вас, что вы будете делать сегодня вечером, если это не секрет?

– Секрета нет. Сейчас я зайду к себе на Садовую, а потом в десять часов вечера в Мас-солите состоится заседание, и я буду на нем председательствовать.

– Нет, этого быть никак не может, – твердо возразил иностранец.

– Это почему?

– Потому, – ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили черные птицы, – что Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится.

Тут, как вполне понятно, под липами наступило молчание.

– Простите, – после паузы заговорил Берлиоз, поглядывая на мелющего чепуху иностранца, – при чем здесь подсолнечное масло... и какая Аннушка?

– Подсолнечное масло здесь вот при чем, – вдруг заговорил Бездомный, очевидно, решив объявить незваному собеседнику войну, – вам не приходилось, гражданин, бывать когда-нибудь в лечебнице для душевнобольных?

– Иван!.. – тихо воскликнул Михаил Александрович.

Но иностранец ничуть не обиделся и превесело рассмеялся.

– Бывал, бывал, и не раз! – вскричал он, смеясь, но не сводя несмеющегося глаза с поэта. – Где я только не бывал! Жаль только, что я не удосужился спросить у профессора, что такое шизофрения. Так что вы уж сами узнайте это у него, Иван Николаевич!

– Откуда вы знаете, как меня зовут?

– Помилуйте, Иван Николаевич, кто же вас не знает? – Здесь иностранец вытащил из кармана вчерашний номер «Литературной газеты», и Иван Николаевич увидел на первой же странице свое изображение, а под ним свои собственные стихи. Но вчера еще радовавшее доказательство славы и популярности на этот раз ничуть не обрадовало поэта.

– Я извиняюсь, – сказал он, и лицо его потемнело, – вы не можете подождать минутку? Я хочу товарищу пару слов сказать.

– О, с удовольствием! – воскликнул неизвестный. – Здесь так хорошо под липами, а я, кстати, никуда и не спешу.

– Вот что, Миша, – зашептал поэт, оттащив Берлиоза в сторону, – он никакой не интурист, а шпион. Это русский эмигрант, перебравшийся к нам. Спрашивай у него документы, а то уйдет...

– Ты думаешь? – встревоженно шепнул Берлиоз, а сам подумал: «А ведь он прав...»

– Уж ты мне верь, – засипел ему в ухо поэт, – он дурачком прикидывается, чтобы выпросить кое-что. Ты слышишь, как он по-русски говорит, – поэт говорил и косился, следя, чтобы неизвестный не удрал, – идем, задержим его, а то уйдет...

И поэт за руку потянул Берлиоза к скамейке.

Незнакомец не сидел, а стоял возле нее, держа в руках какую-то книжечку в темно-сером переплете, плотный конверт хорошей бумаги и визитную карточку.

– Извините меня, что я в пылу нашего спора забыл представить себя вам. Вот моя карточка, паспорт и приглашение приехать в Москву для консультации, – веско проговорил неизвестный, проницательно глядя на обоих литераторов.

Те сконфузились. «Черт, слышал все...» – подумал Берлиоз и вежливым жестом показал, что в предъявлении документов нет надобности. Пока иностранец совал их редактору, поэт успел разглядеть на карточке напечатанное иностранными буквами слово «профессор» и начальную букву фамилии – двойное «В» – «W».

– Очень приятно, – тем временем смущенно бормотал редактор, и иностранец спрятал документы в карман.

Отношения таким образом были восстановлены, и все трое вновь сели на скамью.

– Вы в качестве консультанта приглашены к нам, профессор? – спросил Берлиоз.

– Да, консультантом.

– Вы – немец? – осведомился Бездомный.

– Я-то?.. – переспросил профессор и вдруг задумался. – Да, пожалуй, немец... – сказал он.

– Вы по-русски здорово говорите, – заметил Бездомный.

– О, я вообще полиглот и знаю очень большое количество языков, – ответил профессор.

– А у вас какая специальность? – осведомился Берлиоз.

– Я – специалист по черной магии.

«На тебе!..» – стукнуло в голову у Михаила Александровича.

– И... и вас по этой специальности пригласили к нам? – заикнувшись, спросил он.

– Да, по этой пригласили, – подтвердил профессор и пояснил: – Тут в государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского, десятого века. Так вот требуется, чтобы я их разобрал. Я – единственный в мире специалист.

– А-а! Вы историк? – с большим облегчением и уважением спросил Берлиоз.

– Я – историк, – подтвердил ученый и добавил ни к селу ни к городу: – Сегодня вечером на Патриарших будет интересная история!

И опять крайне удивились и редактор и поэт, а профессор поманил обоих к себе и, когда они наклонились к нему, прошептал:

– Имейте в виду, что Иисус существовал.

– Видите ли, профессор, – принужденно улыбнувшись, отозвался Берлиоз, – мы уважаем ваши большие знания, но сами по этому вопросу придерживаемся другой точки зрения.

– А не надо никаких точек зрения, – ответил странный профессор, – просто он существовал, и больше ничего.

– Но требуется же какое-нибудь доказательство... – начал Берлиоз.

– И доказательств никаких не требуется, – ответил профессор и заговорил негромко, причем его акцент почему-то пропал: – Все просто: в белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана...

## Глава 2 Понтий Пилат

В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат.

Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать прокуратора с рассвета. Прокуратору казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожаного снаряжения и пота от конвоя примешивается проклятая розовая струя. От флигелей в тылу дворца, где расположилась пришедшая с прокуратором в Ершалаим первая когорта Двенадцатого Молниеносного легиона, заносило дымком в колоннаду через верхнюю площадку сада, и к горьковатому дыму, свидетельствовавшему о том, что кашевары в кентуриях начали готовить обед, примешивался все тот же жирный розовый дух.

«О боги, боги, за что вы наказываете меня?.. Да, нет сомнений, это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь... гемикрания, при которой болит полголовы... от нее нет средств, нет никакого спасения... попробую не двигать головой...»

На мозаичном полу у фонтана уже было приготовлено кресло, и прокуратор, не глядя ни на кого, сел в него и протянул руку в сторону. Секретарь почтительно вложил в эту руку кусок пергамента. Не удержавшись от болезненной гримасы, прокуратор искоса, бегло проглядел написанное, вернул пергамент секретарю и с трудом проговорил:

– Подследственный из Галилеи? К тетрарху дело посылали?

– Да, прокуратор, – ответил секретарь.

– Что же он?

– Он отказался дать заключение по делу и смертный приговор Синедриона направил на ваше утверждение, – объяснил секретарь.

Прокуратор дернул щекой и сказал тихо:

– Приведите обвиняемого.

И сейчас же с площадки сада под колонны на балкон двое легионеров ввели и поставили перед креслом прокуратора человека лет двадцати семи. Этот человек был одет в старенький и

разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта – ссадина с запекшейся кровью. Приведенный с тревожным любопытством глядел на прокуратора.

Тот помолчал, потом тихо спросил по-арамейски:

– Так это ты подговаривал народ разрушить ершалаимский храм?

Прокуратор при этом сидел как каменный, и только губы его шевелились чуть-чуть при произнесении слов. Прокуратор был как каменный, потому что боялся качнуть пылающей адской болью головой.

Человек со связанными руками несколько подался вперед и начал говорить:

– Добрый человек! Поверь мне...

Но прокуратор, по-прежнему не шевелясь и ничуть не повышая голоса, тут же перебил его:

– Это меня ты называешь добрым человеком? Ты ошибаешься. В Ершалаиме все шепчут про меня, что я свирепое чудовище, и это совершенно верно. – И так же монотонно прибавил: – Кентуриона Крысобоя ко мне.

Всем показалось, что на балконе потемнело, когда кентурион первой кентурии Марк, прозванный Крысобоем, предстал перед прокуратором. Крысобой был на голову выше самого высокого из солдат легиона и настолько широк в плечах, что совершенно заслонил еще невысокое солнце.

Прокуратор обратился к кентуриону по-латыни:

– Преступник называет меня «добрый человек». Выведите его отсюда на минуту, объясните ему, как надо разговаривать со мной. Но не калечить.

И все, кроме неподвижного прокуратора, проводили взглядом Марка Крысобоя, который махнул рукою арестованному, показывая, что тот должен следовать за ним.

Крысобоя вообще все провожали взглядами, где бы он ни появлялся, из-за его роста, а те, кто видел его впервые, из-за того еще, что лицо кентуриона было изуродовано: нос его некогда был разбит ударом германской палицы.

Простучали тяжелые сапоги Марка по мозаике, связанный пошел за ним бесшумно, полное молчание настало в колоннаде, и слышно было, как ворковали голуби на площадке сада у балкона, да еще вода пела замысловатую приятную песню в фонтане.

Прокуратору захотелось подняться, подставить висок под струю и так замереть. Но он знал, что и это ему не поможет.

Выведя арестованного из-под колонн в сад, Крысобой вынул из рук легионера, стоявшего у подножия бронзовой статуи, бич и, несильно размахнувшись, ударил арестованного по плечам. Движение кентуриона было небрежно и легко, но связанный мгновенно рухнул наземь, как будто ему подрубили ноги, захлебнулся воздухом, краска сбежала с его лица, и глаза обесмыслились.

Марк одною левой рукой легко, как пустой мешок, вздернул на воздух упавшего, поставил его на ноги и заговорил гнусаво, плохо выговаривая арамейские слова:

– Римского прокуратора называть – игемон. Других слов не говорить. Смирно стоять. Ты понял меня или ударить тебя?

Арестованный пошатнулся, но совладал с собою, краска вернулась, он перевел дыхание и ответил хрипло:

– Я понял тебя. Не бей меня.

Через минуту он вновь стоял перед прокуратором.

Прозвучал тусклый, больной голос:

– Имя?

– Мое? – торопливо отозвался арестованный, всем существом выражая готовность отвечать толково, не вызывать более гнева.

Прокуратор сказал негромко:

– Мое мне известно. Не притворяйся более глупым, чем ты есть. Твое.

– Иешуа, – поспешно ответил арестант.

– Прозвище есть?

– Га-Ноцри.

– Откуда ты родом?

– Из города Гамалы, – ответил арестант, головой показывая, что там, где-то далеко, направо от него, на севере, есть город Гамала.

– Кто ты по крови?

– Я точно не знаю, – живо ответил арестованный, – я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец...

– Где ты живешь постоянно?

– У меня нет постоянного жилища, – застенчиво ответил арестант, – я путешествую из города в город.

– Это можно выразить короче, одним словом – бродяга, – сказал прокуратор и спросил: – Родные есть?

– Нет никого. Я один в мире.

– Знаешь ли грамоту?

– Да.

– Знаешь ли какой-либо язык, кроме арамейского?

– Знаю. Греческий.

Вспухшее веко приподнялось, подернутый дымкой страдания глаз уставился на арестованного. Другой глаз остался закрытым.

Пилат заговорил по-гречески:

– Так это ты собирался разрушить здание храма и призывал к этому народ?

Тут арестант опять оживился, глаза его перестали выражать испуг, и он заговорил по-гречески:

– Я, доб... – тут ужас мелькнул в глазах арестанта оттого, что он едва не оговорился, – я, игемон, никогда в жизни не собирался разрушать здание храма и никого не подговаривал на это бессмысленное действие.

Удивление выразилось на лице секретаря, сгорбившегося над низеньким столом и записывавшего показания. Он поднял голову, но тотчас же опять склонил ее к пергаменту.

– Множество разных людей стекается в этот город к празднику. Бывают среди них маги, астрологи, предсказатели и убийцы, – говорил монотонно прокуратор, – а попадают и лгуны. Ты, например, лгун. Записано ясно: подговаривал разрушить храм. Так свидетельствуют люди.

– Эти добрые люди, – заговорил арестант и, торопливо прибавив: – игемон, – продолжал: – ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной.

Наступило молчание. Теперь уже обабольные глаза тяжело глядели на арестанта.

– Повторяю тебе, но в последний раз: перестань притворяться сумасшедшим, разбойник, – произнес Пилат мягко и монотонно, – за тобою записано немного, но записанного достаточно, чтобы тебя повесить.

– Нет, нет, игемон, – весь напрягаясь в желании убедить, говорил арестованный, – ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Я его умолял: сожги ты, бога ради, свой пергамент! Но он вырвал его у меня из рук и убежал.

– Кто такой? – брезгливо спросил Пилат и тронул висок рукой.

– Левий Матвей, – охотно объяснил арестант, – он был сборщиком податей, и я с ним встретился впервые на дороге в Виффагии, там, где углом выходит фиговый сад, и разговаривал с ним. Первоначально он отнесся ко мне неприязненно и даже оскорблял меня, то есть думал, что оскорбляет, называя меня собакой, – тут арестант усмехнулся, – я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это слово...

Секретарь перестал записывать и исподтишка бросил удивленный взгляд, но не на арестованного, а на прокуратора.

– ...однако, послушав меня, он стал смягчаться, – продолжал Иешуа, – наконец бросил деньги на дорогу и сказал, что пойдет со мною путешествовать...

Пилат усмехнулся одною щекой, оскалив желтые зубы, и промолвил, повернувшись всем туловищем к секретарю:

– О, город Ершалаим! Чего только не услышишь в нем! Сборщик податей, вы слышите, бросил деньги на дорогу!

Не зная, как ответить на это, секретарь счел нужным повторить улыбку Пилата.

– А он сказал, что деньги ему отныне стали ненавистны, – объяснил Иешуа странные действия Левия Матвея и добавил: – И с тех пор он стал моим спутником.

Все еще скалясь, прокуратор поглядел на арестованного, затем на солнце, неуклонно поднимающееся вверх над конными статуями гипподрома, лежащего далеко внизу направо, и вдруг в какой-то тошной муке подумал о том, что проще всего было бы изгнать с балкона этого странного разбойника, произнеся только два слова: «Повесить его». Изгнать и конвой, уйти из колоннады внутрь дворца, велеть затемнить комнату, повалиться на ложе, потребовать холодной воды, жалобным голосом позвать собаку Банга, пожаловаться ей на гемикранию. И мысль об яде вдруг соблазнительно мелькнула в больной голове прокуратора.

Он смотрел мутными глазами на арестованного и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на утреннем безжалостном ершалаимском солнцепеке стоит перед ним арестант с обезображенным побоями лицом и какие еще никому не нужные вопросы ему придется задавать.

– Левий Матвей? – хриплым голосом спросил больной и закрыл глаза.

– Да, Левий Матвей, – донесся до него высокий, мучающий его голос.

– А вот что ты все-таки говорил про храм толпе на базаре?

Голос отвечавшего, казалось, колот Пилату в висок, был невыразимо мучителен, и этот голос говорил:

– Я, игемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятнее.

– Зачем же ты, бродяга, на базаре смушал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина?

И тут прокуратор подумал: «О боги мои! Я спрашиваю его о чем-то ненужном на суде... Мой ум не служит мне больше...» И опять померещилась ему чаша с темной жидкостью. «Яду мне, яду...»

И вновь он услышал голос:

– Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся, голова пройдет.

Секретарь вытаращил глаза на арестанта и не дописал слова.



Пилат поднял мученические глаза на арестанта и увидел, что солнце уже довольно высоко стоит над гипподромом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа, что тот сторонится от солнца.

Тут прокуратор поднялся с кресла, сжал голову руками, и на желтоватом бритом лице его выразился ужас. Но он тотчас же подавил его своею волей и вновь опустил в кресло.

Арестант же тем временем продолжал свою речь, но секретарь ничего более не записывал, а только, вытянув шею, как гусь, старался не проронить ни одного слова.

– Ну вот, все и кончилось, – говорил арестованный, благожелательно поглядывая на Пилата, – и я чрезвычайно этому рад. Я советовал бы тебе, игемон, оставить на время дворец и погулять пешком где-нибудь в окрестностях, ну хотя бы в садах на Елеонской горе. Гроза начнется... – арестант повернулся, прищурился на солнце, – ... позже, к вечеру. Прогулка принесла бы тебе большую пользу, а я с удовольствием сопровождал бы тебя. Мне пришли в голову кое-какие новые мысли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе интересными, и я охотно поделился бы ими с тобой, тем более что ты производишь впечатление очень умного человека.

Секретарь смертельно побледнел и уронил свиток на пол.

– Беда в том, – продолжал никем не останавливаемый связанный, – что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласишься, поместить всю свою привязанность в собаку. Твоя жизнь скудна, игемон, – и тут говорящий позволил себе улыбнуться.

Секретарь думал теперь только об одном, верить ли ему ушам своим или не верить. Приходилось верить. Тогда он постарался представить себе, в какую именно причудливую форму выльется гнев вспльчивого прокуратора при этой неслыханной дерзости арестованного. И этого секретарь представить себе не мог, хотя и хорошо знал прокуратора.

Тогда раздался сорванный, хриповатый голос прокуратора, по-латыни сказавшего:

– Развяжите ему руки.

Один из конвойных легионеров стукнул копьем, передал его другому, подошел и снял веревки с арестанта. Секретарь поднял свиток, решил пока что ничего не записывать и ничему не удивляться.

– Сознайся, – тихо по-гречески спросил Пилат, – ты великий врач?

– Нет, прокуратор, я не врач, – ответил арестант, с наслаждением потирая измятую и опухшую багровую кисть руки.

Круто исподлобья Пилат буравил глазами арестанта, и в этих глазах уже не было мути, в них появились всем знакомые искры.

– Я не спросил тебя, – сказал Пилат, – ты, может быть, знаешь и латинский язык?

– Да, знаю, – ответил арестант.

Краска выступила на желтоватых щеках Пилата, и он спросил по-латыни:

– Как ты узнал, что я хотел позвать собаку?

– Это очень просто, – ответил арестант по-латыни, – ты водил рукой по воздуху, – и арестант повторил жест Пилата, – как будто хотел погладить, и губы...

– Да, – сказал Пилат.

Помолчали. Потом Пилат задал вопрос по-гречески:

– Итак, ты врач?

– Нет, нет, – живо ответил арестант, – поверь мне, я не врач.

– Ну, хорошо. Если хочешь это держать в тайне, держи. К делу это прямого отношения не имеет. Так ты утверждаешь, что не призывал разрушить... или поджечь, или каким-либо иным способом уничтожить храм?

– Я, игемон, никого не призывал к подобным действиям, повторяю. Разве я похож на слабоумного?

– О да, ты не похож на слабоумного, – тихо ответил прокуратор и улыбнулся какой-то страшной улыбкой, – так поклянись, что этого не было.

– Чем хочешь ты, чтобы я поклялся? – спросил, очень оживившись, развязанный.

– Ну, хотя бы жизнью твоею, – ответил прокуратор, – ею клясться самое время, так как она висит на волоске, знай это.

– Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, игемон? – спросил арестант. – Если это так, ты очень ошибаешься.

Пилат вздрогнул и ответил сквозь зубы:

– Я могу перерезать этот волосок.

– И в этом ты ошибаешься, – светло улыбаясь и заслоняясь рукой от солнца, возразил арестант, – согласишься, что перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил?

– Так, так, – улыбнувшись, сказал Пилат, – теперь я не сомневаюсь в том, что праздные зеваки в Ершалаиме ходили за тобою по пятам. Не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо. Кстати, скажи: верно ли, что ты явился в Ершалаим через Сузские ворота верхом на осле, сопровождаемый толпою черни, кричавшей тебе приветствия как бы некоему пророку? – тут прокуратор указал на свиток пергамента.

Арестант недоуменно поглядел на прокуратора.

– У меня и осла-то никакого нет, игемон, – сказал он. – Пришел я в Ершалаим точно через Сузские ворота, но пешком, в сопровождении одного Левия Матвея, и никто мне ничего не кричал, так как никто меня тогда в Ершалаиме не знал.

– Не знаешь ли ты таких, – продолжал Пилат, не сводя глаз с арестанта, – некоего Дисмаса, другого – Гестаса и третьего – Вар-раввана?

– Этих добрых людей я не знаю, – ответил арестант.

– Правда?

– Правда.

– А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова «добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь?

– Всех, – ответил арестант, – злых людей нет на свете.

– Впервые слышу об этом, – сказал Пилат, усмехнувшись, – но, может быть, я мало знаю жизнь!.. Можете дальнейшее не записывать, – обратился он к секретарю, хотя тот и так ничего не записывал, и продолжал говорить арестанту: – В какой-нибудь из греческих книг ты прочел об этом?

– Нет, я своим умом дошел до этого.

– И ты проповедуешь это?

– Да.

– А вот, например, кентурион Марк, его прозвали Крысобоем, он – добрый?

– Да, – ответил арестант, – он, правда, несчастливый человек. С тех пор как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Интересно бы знать, кто его искалечил?

– Охотно могу сообщить это, – отозвался Пилат, – ибо я был свидетелем этого. Добрые люди бросались на него, как собаки на медведя. Германцы вцепились ему в шею, в руки, в ноги. Пехотный манипул попал в мешок, и если бы не врубилась с фланга кавалерийская турма, а командовал ею я, тебе, философ, не пришлось бы разговаривать с Крысобоем. Это было в бою при Идиставизо, в Долине Дев.

– Если бы с ним поговорить, – вдруг мечтательно сказал арестант, – я уверен, что он резко изменился бы.

– Я полагаю, – отозвался Пилат, – что мало радости ты доставил бы легату легиона, если бы вздумал разговаривать с кем-нибудь из его офицеров или солдат. Впрочем, этого и не случится, к общему счастью, и первый, кто об этом позаботится, буду я.

В это время в колоннаду стремительно влетела ласточка, сделала под золотым потолком круг, снизилась, чуть не задела острым крылом лица медной статуи в нише и скрылась за капителью колонны. Быть может, ей пришла мысль вить там гнездо.

В течение ее полета в светлой теперь и легкой голове прокуратора сложилась формула. Она была такова: игемон разобрал дело бродячего философа Иешуа, по кличке Га-Ноцри, и состава преступления в нем не нашел. В частности, не нашел ни малейшей связи между действиями Иешуа и беспорядками, происшедшими в Ершалаиме недавно. Бродячий философ оказался душевнобольным. Вследствие этого смертный приговор Га-Ноцри, вынесенный Малым Синедрионом, прокуратор не утверждает. Но ввиду того, что безумные утопические речи Га-Ноцри могут быть причиной волнений в Ершалаиме, прокуратор удаляет Иешуа из Ершалаима и подвергнет его заключению в Кесарии Стратоновой на Средиземном море, то есть именно там, где резиденция прокуратора.

Оставалось это продиктовать секретарю.

Крылья ласточки фыркнули над самой головой игемона, птица метнулась к чаше фонтана и вылетела на волю. Прокуратор поднял глаза на арестанта и увидел, что возле того столбом загорелась пыль.

– Всё о нем? – спросил Пилат у секретаря.

– Нет, к сожалению, – неожиданно ответил секретарь и подал Пилату другой кусок пергамента.

– Что еще там? – спросил Пилат и нахмурился.

Прочитав поданное, он еще более изменился в лице. Темная ли кровь прилила к шее и лицу, или случилось что-либо другое, но только кожа его утратила желтизну, побурела, а глаза как будто провалились.

Опять-таки виновата была, вероятно, кровь, прилившая к вискам и застучавшая в них, только у прокуратора что-то случилось со зрением. Так, померещилось ему, что голова арестанта уплыла куда-то, а вместо нее появилась другая. На этой плешивой голове сидел редкозубый золотой венец. На лбу была круглая язва, разъедающая кожу и смазанная мазью. Запавший беззубый рот с отвисшей нижней капризной губой. Пилату показалось, что исчезли розовые колонны балкона и кровли Ершалаима вдали, внизу за садом, и все утонуло вокруг в густейшей зелени капрейских садов. И со слухом совершилось что-то странное – как будто вдали проиграли негромко и грозно трубы и очень явственно послышался носовой голос, надменно тянущий слова: «Закон об оскорблении величества...»

Мысли понеслись короткие, бессвязные и необыкновенные: «Погиб!..», потом: «Погибли!..» И какая-то совсем нелепая среди них о каком-то бессмертии, причем бессмертие почему-то вызвало нестерпимую тоску.

Пилат напрягся, изгнал видение, вернулся взором на балкон, и опять перед ним оказались глаза арестанта.

– Слушай, Га-Ноцри, – заговорил прокуратор, глядя на Иешуа как-то странно: лицо прокуратора было грозно, но глаза тревожны, – ты когда-либо говорил что-нибудь о великом кесаре? Отвечай! Говорил?.. Или... не... говорил? – Пилат протянул слово «не» несколько больше, чем это полагается на суде, и послал Иешуа в своем взгляде какую-то мысль, которую как бы хотел внушить арестанту.

– Правду говорить легко и приятно, – заметил арестант.

– Мне не нужно знать, – придушенным, злым голосом отозвался Пилат, – приятно или неприятно тебе говорить правду. Но тебе придется ее говорить. Но, говоря, взвешивай каждое слово, если не хочешь не только неизбежной, но и мучительной смерти.

Никто не знает, что случилось с прокуратором Иудеи, но он позволил себе поднять руку, как бы заслоняясь от солнечного луча, и за этой рукой, как за щитом, послать арестанту какой-то намекающий взор.

– Итак, – говорил он, – отвечай, знаешь ли ты некоего Иуду из Кириафа, и что именно ты говорил ему, если говорил, о кесаре?

– Дело было так, – охотно начал рассказывать арестант, – позавчера вечером я познакомился возле храма с одним молодым человеком, который назвал себя Иудой из города Кириафа. Он пригласил меня к себе в дом в Нижнем Городе и угостил...

– Добрый человек? – спросил Пилат, и дьявольский огонь сверкнул в его глазах.

– Очень добрый и любознательный человек, – подтвердил арестант, – он выказал величайший интерес к моим мыслям, принял меня весьма радушно...

– Светильники зажег... – сквозь зубы в тон арестанту проговорил Пилат, и глаза его при этом мерцали.

– Да, – немного удивившись осведомленности прокуратора, продолжал Иешуа, – попросил меня высказать свой взгляд на государственную власть. Его этот вопрос чрезвычайно интересовал.

– И что же ты сказал? – спросил Пилат. – Или ты ответишь, что ты забыл, что говорил? – но в тоне Пилата была уже безнадежность.

– В числе прочего я говорил, – рассказывал арестант, – что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть.

– Далее!

– Далее ничего не было, – сказал арестант, – тут вбежали люди, стали вязать меня и повели в тюрьму.

Секретарь, стараясь не проронить ни слова, быстро чертил на пергаменте слова.

– На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия! – сорванный и больной голос Пилата разорся.

Прокуратор с ненавистью почему-то глядел на секретаря и конвой.

– И не тебе, безумный преступник, рассуждать о ней! – Тут Пилат вскричал: – Вывести конвой с балкона! – И, повернувшись к секретарю, добавил: – Оставьте меня с преступником наедине, здесь государственное дело.

Конвой поднял копыя и, мерно стуча подкованными каллигами, вышел с балкона в сад, а за конвоем вышел и секретарь.

Молчание на балконе некоторое время нарушала только песня воды в фонтане. Пилат видел, как вздувалась над трубочкой водяная тарелка, как отламывались ее края, как падали струйками.

Первым заговорил арестант:

– Я вижу, что совершилась какая-то беда из-за того, что я говорил с этим юношей из Кириафа. У меня, игемон, есть предчувствие, что с ним случится несчастье, и мне его очень жаль.

– Я думаю, – странно усмехнувшись, ответил прокуратор, – что есть еще кое-кто на свете, кого тебе следовало бы пожалеть более, чем Иуду из Кириафа, и кому придется гораздо хуже, чем Иуде!.. Итак, Марк Крысобой, холодный и убежденный палач, люди, которые, как я вижу, – прокуратор указал на изуродованное лицо Иешуа, – тебя били за твои проповеди, разбойники Дисмас и Гестас, убившие со своими присными четырех солдат, и, наконец, грязный предатель Иуда – все они добрые люди?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.